

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сюжет о крестьянине, очутившемся в городе и подвергающемся сложному влиянию урбанистской культуры, стал одним из центральных и кардинальных сюжетов украинской художественной литературы последних десятилетий. Ибо процесс индустриализации и урбанизации Украины к началу XX века начинает развиваться особо энергичным темпом. Черноземная крестьянская Украина, быстро покрывшаяся сетью сахарных заводов и шахт, на некогда диких запорожских степях которой дымили мощные металлургические и сталелитейные заводы, окончательно теряла свою патриархальную старосветскость—параллельно с тем, как классово-расслоенные украинские села ежегодно—в возрастающей прогрессии—выбрасывали к заводским воротам и на городские тротуары массу крестьянской живой силы, ищущей заработка, так называемых «заробитчан». Этот процесс нашел рельефное отражение—и под социологическим и под психологическим аспектом—у лучших украинских классиков предоктябрьского периода, в частности у Ивана Франко, Коцюбинского, Чернявского. Для дооктябрьской украинской литературы, в значительной мере проникнутой крестьянской психологией или, скажем точнее, психологией интеллигентов, связанных с селом, город всегда казался каким-то чудовищем, чем-то вроде верхарновского «города-спрута», каким-то

развратителем душ и тел. Это понятно: город разлагал деревню, пожирал ее рабочие силы. Даже у Ивана Франко—наиболее прогрессивного из дооктябрьских писателей—мы можем встретить характеристику города как людоеда. «Пришел Матвей в город людоедов»—так начинается одна из его значительных поэм. Иным и не мог представляться чуткому украинскому писателю город дооктябрьской эпохи, когда эксплуатируемый на заводе крестьянин испытывал тройной гнет: не только социальный и экономический, но и национальный.

Параллельно с этим в буржуазно-интеллигентских кругах украинской литературы начала XX века постепенно культивируется диаметрально противоположное отношение к городу—раболепно-восторженное, надрывно-богемское, прославляющее не подлинную мощь городской культуры, а ее внешнюю, чисто показную, мишурную величественность, теневые стороны города с его туманами и копотью, с ресторанами-фантазмагориями, с его проститутками, короче говоря—город, показанный в декадентском восприятии тротуарных фланеров и завсегдатаев кафе.

В конечном счете, оба эти отношения к городу питались своими корнями в одной и той же социальной почве и, в сущности, только дополняли и логически продолжали друг друга. Только на почве Октября, практически осуществившего смычку города с пролетаризующимся селом, урбанистские мотивы в художественной литературе находили и продолжают находить свое здоровое разрешение.

Все же—мы это отметим сразу—Валериан Пидмогильный, несмотря на то, что автор «Города»—писатель послеоктябрьской эпохи, трактует тему о переживании крестьянского парня, попавшего в городскую обстановку, исключительно в дооктябрьском декадентском

духе. Проблема взаимоотношений советского города и советского села в широком плане не заинтересовала художника. Перед нами не столько роман о городе во всей его сложности, сколько повесть о городской богеме, поймавшей в свои соблазнительные сети упрямого, эгоистичного и талантливое крестянина-вузовца. Сюжет произведения движется совсем не по широким социологическим рельсам, как можно было бы ожидать, исходя из вызывающе-подчеркнутого заглавия романа, а по узкоколейке психологизма. Центр тяжести его не в анализе социальных взаимоотношений города и села, а исключительно в анализе настроений центрального персонажа, перерождающегося из неуклюжего, но идейного крестянского парня Степана в циничного, самовлюбленного богемьена Стефана. Это—если не автобиографический, то в некоторой мере автопсихологический роман, интереснейший психологический документ, посвященный советской литературной богеме.

Замечательно, что несмотря на свою сутубую психологичность, роман оказался чрезвычайно читабельным. Уверенной рукой мастера ведет нас Пидмогильный по этапам враняния Степана Радченко, вчерашнего повстанца и сельского культработника, в круг богемских мирощущений. С тонкой иронией показывает талантливый украинский беллетрист, как Степан Радченко, недавно ожесточенно проклиная город за его пышные витрины, за его праздную уличную толпу, тосковавший по идиллии сельской жизни, постепенно поддается городским соблазнам, с трепетом вдыхает аромат парижских духов у случайно проходящей дамы, мечтает об элегантных костюмах, о внешнем лоске, и новыми костюмами, равно как и новыми—с каждым разом более «светскими» любовницами—отмечает вехи своей карьеры. С немешней художественной убедительно-

стью изображены беллетристом моменты смены творческого подъема полосами творческой депрессии.

«Город» в связи с его социальным эквивалентом вызвал на Украине как в литературских, так и в читательских кругах чрезвычайно много споров, зачастую подвергаясь—на устных диспутах и в журнальных статьях—острым обличительным нападкам пролетарской критики. При этом спорящие стороны, с редким единодушием, как нечто абсолютно бесспорное, признавали безупречное мастерство романа и незаурядную талантливость автора.

Валериан Пидмогильный—автор «Остапа Шапталы», «Третьей революции», «Проблемы хлеба»—выходец из крестьянской семьи. Он родился в 1901 году в Екатеринославской губернии. Дебютировал в 1919 году и, таким образом, принадлежит к первой фаланге украинских послеоктябрьских беллетристов.

Среди них, однако, будущий автор «Города» сразу занял обособленное место. Он специализировался исключительно на изображении индивидуалистически-настроенных интеллигентов. Он занял позицию скептического наблюдателя современности, преломляя ее сквозь призму несколько изломанной трагедийности этих анархизирующих интеллигентов.

Как мастер художественной прозы, он—один из лучших продолжителей традиции Коцюбинского, обогащающий эту традицию украинского европеизма непрерывной учбой у лучших французских новеллистов.

Действительно—в импрессионистическом стиле Пидмогильного есть нечто французское в лучшем смысле этого слова. Ему свойственно большое чувство меры, чувство вкуса, искусство давать одновременно четкий, тонкий и скупой психологический рисунок. «In Begrenzung zeigt sich der Meister» «в самоограничении про-

является истинный талант». Пидмогильный верен этому завету и в выборе тематики, и в отборе лексики, и в самом легко скользящем, подернутом дымкой иронии стиле—типичном «*style coulante*» французов, благодаря чему его произведения (при всей их социологической недовершенности, а иногда и ошибочности) находятся на неизменно значительной художественной высоте.

Мы не сомневаемся, что русский читатель прочтет роман Пидмогильного с тем же эстетическим наслаждением, с каким он был прочитан на Украине.

А. Лейтес.

Ч А С Т Ь П Е Р В А Я

I

Казалось, плыть дальше некуда. Днепр как бы застыл в заливе, окруженный справа, слева и спереди зелено-желтыми предосенними берегами. Но пароход вдруг свернул, и длинная спокойная полоса реки потянулась дальше, к чуть заметным на горизонте холмам.

Степан стоял на палубе у перил, невольно погружаясь глазами в даль, и мерные удары лопастей парового колеса, глухие слова капитана у рупора обессиливали его мысли. Они растерялись в туманной дали, где незаметно исчезала река, словно горизонт был последней гранью его желаний. Молодой человек медленно посмотрел на ближние берега и немного смутился—на повороте справа выросло село, скрывавшееся до сих пор за изгибами лугов. Августовское солнце стирало с белых хаток грязь, узорило черные дороги, которые убегали в поле и исчезали где-то, синяя, как река. И казалось, пропавшая дорога, соединившись с небом в безграничной равнине, снова возвращалась к селу, неся ему впитанные в себя просторы. А третья дорога, скатившись к реке, передавала селу свежесть Днепра. Деревня спала среди солнечного дня, и тайна была в этом сне среди стихий, питающих его своей мощью. Тут, у берега, село казалось родным творением просторов, волшебным цветком земли, неба и воды.

Покинутое Степаном родное село тоже стояло на

берегу, и он бессознательно искал сходства между ним и этим, случайно встретившимся ему на великом пути. И радостно чувствовал, что сродство это есть и что и в эти хаты, как и в свои оставленные, он зашел бы хозяином. С сожалением смотрел, как тает оно, отодвигаясь с каждым движением машины, и вот пряди противного дыма спрятали его совсем. Тогда Степан вздохнул. Может быть, это было уже последнее село, которое он увидел перед городом.

Он ощутил в своей душе неясное волнение и истому, словно в родном селе и во всех других, которые видел, он оставил не только прошлое, но и надежды. Закрыв глаза, он отдался грусти, баюкавшей душу.

Когда он выпрямился, рядом с ним у перил стояла Надийка. Он не слышал, как она подошла, и обрадовался, хоть и не звал ее. Он тихо взял ее за руку. Она вздрогнула и, не подымая головы, смотрела на веерообразную волну, гонимую носом парохода.

Они жили в одном селе, но до сих пор были мало знакомы. Он знал об ее существовании, о том, что она занимается и даже не выходит на гульбище. Несколько раз видел он ее в «Доме крестьянина», где ведал библиотекой. Но тут они встретились как бы впервые, и общность судьбы сблизила их. Она, как и он, ехала в большой город учиться, у них обоих в карманах были командировки и перед обоими была новая жизнь. Одновременно переходили они границу будущего.

Правда, ее положение было несколько лучшим—она говорила, что родители будут присылать ей продукты, а он надеялся только на стипендию; она должна была остановиться у подруг, а у него было лишь письмо от дяди к знакомому торговцу. Натура у нее была живая; он был сосредоточенным и как бы вялым. За свои двадцать пять лет он был подпаском-приемышем, потом

просто парнем, затем повстанцем и последнее время секретарем сельбюро союза Рабземлес. Только в одном он имел над ней перевес—был способным и не боялся экзаменов. За этот день, проведенный на пароходе, он успел разъяснить ей много темного в социальных дисциплинах, и она очарованно слушала его приятный голос. Когда отходила на мгновение, ее сразу охватывала скука. А когда он начинал разъяснять ей непонятные экономические проблемы, ей хотелось, чтоб парень рассказал о чем-то другом: о своих надеждах, о том, как он жил тогда, когда они еще не были знакомы. Но она только благодарила его за объяснение и убежденно говорила:

— О, вы получите стипендию! Вы так подготовлены.

Степан улыбался, ему приятно было слышать похвалу и веру в свои силы от этой синеглазой девушки. И действительно, Надийка казалась ему самой красивой женщиной на пароходе. Длинные рукава ее серой блузки были ему милее иных голых рук; воротничок оставлял на виду только узенькую полоску тела, а другие бесстыдно выставляли напоказ плечи и линии груди. Ботинки ее на маленьких каблучках были округлены, а колени не выглядывали беспрестанно из-под юбки. Степана радовала ее безыскусственность, такая близкая его душе. К другим женщинам он относился с легким презрением и даже с боязнью. Чувствовал, что они не обращают на него внимания, игнорируют его за плохонький френч, рыжий картуз и выцветшие брюки.

Он был высок ростом, хорошо сложен и смугл лицом. Небритые неделю щеки придавали ему неряшливый вид. Брови у Степана были густые, глаза большие, серые, лоб широкий, губы чувственные. Темные волосы он откидывал назад, как многие из сельских парней и никто теперь из поэтов.

Степан держал руку на теплых Надийкиных пальцах и задумчиво смотрел на реку, песчаные крутые берега и одинокие деревья на них.

Вдруг Надийка выпрямилась и, взмахнув рукой, сказала:

— А Киев уж близко.

Киев! Это тот большой город, куда он едет учиться и жить. Это то новое, во что он должен войти, чтобы достичь своей взлелеянной издавна мечты. Неужели Киев в самом деле близко? Степан заволновался и спросил:

— А где Левко?

Они оглянулись и увидели на корме группу крестьян, расположившихся обедать. На разостланной перед ними свитке лежали хлеб, лук и сало. Левко, студент-сельскохозяйственник из того же села, сидел с ними и ел. Он был добродушен и не по росту толст. Прежде из него вышел бы идеальный священник, а теперь—образцовый агроном. Сам крестьянин от деда и прадеда, он прекрасно сумел бы помочь крестьянину либо проповедью, либо научным советом. Учился он очень аккуратно, ходил в поддевке и всего больше любил охоту. За два года голодного пребывания в городе он выработал и до конца оформил основной закон человеческого существования. Из распространенного во время революции лозунга «кто не работает, тот не ест» он вывел для себя категорический тезис: «Кто не ест, тот не работает»—и применял его при всяком случае и возможности. На пароходе крестьяне охотно угощали его сельскими продуктами, а он за это рассказывал им много интересных вещей о планете Марс, о сельском хозяйстве Америки и о радио. Они удивлялись и осторожно, немного насмешливого, втайне не веря, расспрашивали об этих чудесах и о боге.